



Наталья  
ЛАЙДИНЕН  
г. Москва

# «ЕСТЬ МУЖЕСТВО ПОЭТА = НЕ МОЛЧАТЬ...»

## О поэзии Рувима Морана

О том, как летит время и стирает избыточные воспоминания, задумываешься, перелистывая страницы объемных литературных изданий и антологий ушедших десятилетий. Совсем недавно гремели имена, книги публиковались огромными тиражами, а сейчас – тишина, забвение. И отчего-то не трогают сердца всем известные некогда строфы... У времени и памяти – своя логика. Немало и тех авторов, кто, наоборот, при жизни оставались скромными и неузнанными, не стремились к почестям и наградам, спокойно трудились вдали от богемной шумихи и суеты. И только теперь мы осознаем, что они отправили в будущее концентрированный энергетический заряд своих размышлений, эмоций и впечатлений, который настаивает читателей спустя годы.

Именно так произошло с наследием поэта Рувима Давидовича Морана (1908–1986). Широкой аудитории его имя незнакомо и поныне, хотя в некоторых библиотеках доступны книги, стихи представлены в интернете, в журналах «Звезда», «Нева», «Знамя», публиковались подборки, а на стихотворение «Известно, отчего мелеют реки» композитор Генрих Семенович Брук сочинил романс для лирико-драматического сопрано. Для большинства исследователей Р. Моран остается в первую очередь высококлассным переводчиком, открывшим для читателей классику и совре-

менность татарской литературы. Но это только фасад, за которым скрывалась ранимая и мудрая древняя душа, рожденная для поэзии, искавшая исполнения своего предназначения в слове.

\* \* \*

Заря молодости Рувима Морана всходила ярко, манила удачей и обещала многие свершения. Ранние произведения уроженца села Березовка Ананьевского уезда Херсонской губернии (Украина) публиковались в газетах, журналах и имели успех даже в Москве. Немалую роль в этом сыграл тот факт, что, переехав в Одессу в 1919 году, Рувим сразу окунулся в бурлящий городской круговорот, познакомился с Эдуардом Багрицким, среди участников пролетарского литкружка «Потоки Октября» приобрел первый опыт литературной учебы и работы, поэтических публикаций, повлиявший на всю его дальнейшую творческую судьбу. Юный стихотворец имел шуточное прозвище Ундервуд, в котором друзья видели производное от «вундеркинда» и названия пишущей машинки.

С молодости легко Морану не давалось ничего: с 1928 года он трудился в чугунолитейном цехе Николаевского судостроительного завода имени А. Марти. Но упрямо продолжал писать, в свободные часы много читал, эта привычка сохранилась

до последних дней. Именно тогда пришла первая известность – его стихи увидели свет в «Комсомольской правде», «Молодой гвардии», «Красной нови». Поэт Марк Лисянский, автор предисловия к книге «В поздний час» (единственный полноценный сборник стихотворений Морана, вышедший через несколько лет после его смерти в издательстве «Советский писатель»), вспоминал, что ему, восторженному мальчишке, заводской труженик Рувим Моран казался литературным мэтром: «Город Николаев. 1929 год. Мне шестнадцать. Я уже работаю на том же судостроительном заводе, а Морану – двадцать лет. У нас в Николаеве он признанный поэт. Его стихи появляются то в местном литературном журнале «Стапель», то в нашей городской газете «Красный Николаев». Начало одного стихотворения осталось в памяти. В нем завод, док, верфи, корабль, сходящий со стапелей на воду Южного Буга:

*Еще с утра старался серый Буг  
Похожим стать на море. Но до волн  
Не дорастала зыбь. Ее судьбу  
Решали сваи...*

Таких строк я сейчас не нашел в стихах Морана, но они остались со мной навсегда. Мне это кажется одним из самых удивительных свойств поэзии. Приходят и уходят десятилетия, приходят и уходят поэты, а строчки, некогда поразившие нас, остаются»<sup>1</sup>.

Окончив учебу в Московском полиграфическом институте, с 1935 года Рувим Моран работал литературным секретарем отдела культуры газеты «Красная звезда». В издании молодой журналист был на хорошем счету, коллеги отмечали оригинальность его статей и редкую образованность. Редактор «Красной звезды», человек решительный и отважный, предельно требовательный к себе и сотрудникам, Давид Иосифович Ортенберг вспоминал о необычном стиле его материалов: «Не помню, чтобы Моран когда-либо предлагал нам свои стихи. Зато его поэтическое вдохновение нашло выход в очерках и особенно в передовых статьях. Примером журналистского мастерства Морана была, по-моему, передовая, посвященная героям боев у озера Хасан в самый разгар этих событий – в 1938 году. Моран начал ее... с народной сказки. В те строгие времена это было слишком дерзновенно. Да, пожалуй, и ныне такие вольности в передовых не поощряются. Я, было, занес над сказкой красный карандаш, но автор с такой страстью убеждал меня оставить эти строки, что я, в конце концов, уступил ему. А

на следующее утро раздался телефонный звонок из «Правды». Звонил Михаил Кольцов. – Кто у вас писал сегодняшнюю передовую? – спросил он. Обычно мы этого не раскрывали. Но Кольцову отказать нельзя: я назвал автора. – Какой молодец! – похвалил Кольцов»<sup>2</sup>.

Д.И. Ортенберг оставил заметки и о том, как Рувим Моран стал одним из военкоров «Красной звезды» на полях Великой Отечественной. Во многом это произошло вопреки его редакторской воле. «Война застала Морана в Ленинграде. 22 июня он поспешил на Карельский перешеек. Боев там еще не было. Тем не менее на границе чувствовалась напряженность, и Моран передал об этом кое-какую информацию. Одновременно он позвонил мне и спросил, что делать дальше. Я ответил: – Возвращайтесь в Москву – некому писать передовые!..

Утром Моран уже был в редакции, и сразу же мы усадили его за передовицу о первых героях воздушных боев. <...>

Когда передовая была подписана и отправлена в набор, Моран как-то застенчиво обратился ко мне с просьбой: «Пошлите меня на фронт...»

Такие просьбы следовали одна за другой от всех сотрудников редакции, оставленных в Москве. Я чаще всего отмалчивался. Промолчал и на сей раз. Моран понял, что, вопреки известной поговорке «молчание – знак согласия», в данном случае дело обстоит как раз наоборот. Через несколько дней он повторно «атаковал» меня, уже более решительно. Употребил даже такую неуместную фразу: «Не хочу быть тыловой крысой».

Москву в это время уже бомбили. Я знал, что в часы воздушных тревог Моран исправно дежурил на крыше редакционного здания. Сердито сказал ему: «Считайте это вашим фронтом...»

Тогда он предпринял обходный маневр. Прознав в начале августа, что формируется редакция газеты для нового – Брянского – фронта и редактором туда уже назначен бывший краснозвездовец Воловец, вызвался ехать с ним. Тот с радостью принял это предложение. Все необходимые документы были оформлены в тот же день. Моран, числившийся у нас вольнонаемным, получил из военкомата мобилизационный листок. Оставалось только сходить за предписанием в Главное Политическое управление.

Но перед тем Моран зашел все же ко мне. Легко представить, как я вскипел. Тут же позвонил райвоенкому, на высоких тонах объяснился с ним, а Морану объявил, что идти в Главное Политическое управление не требуется. Надо было видеть, как это огорчило его. Я сжалился: «Лад-

но, поедете на фронт. И даже на Брянский фронт, только не в редакцию Воловца, а в качестве собкора «Красной звезды». Кому-то же нужно представлять нашу газету на новом фронте. Так уж куда ни шло, представляйте вы...» Моран собрался в дорогу немедленно»<sup>3</sup>.

Ежедневно рискуя жизнью, Рувим Моран присылал в редакцию оперативные журналистские материалы, внося свой вклад в летопись войны. Они получали высокую оценку коллег и читателей за непривычную для газеты эмоциональность и образность. На Брянском фронте Моран был ранен, снаряд повредил руку и бедро, от неминуемой смерти спасла каска. Он был первым корреспондентом «Красной звезды», получившим ранение. В медсанбате его навестили главред издания Давид Ортенберг и писатель Илья Эренбург. Последний называл Рувима наиболее эрудированным сотрудником газеты, видел в нем отличного собеседника, недоумевал, как такой знаток поэзии оказался в военном издании, отмечал, что он был очень милым и скромным.

Илья Григорьевич вспоминал о той встрече в мемуарах «Люди, годы, жизнь»: «В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Миномет...» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!»<sup>4</sup> Восстановился Р. Моран только через полгода и снова был командирован на передовую.

Суровые фронтовые будни, потеря друзей — военкоры А. Шуэра, Л. Иша, П. Олендера и других, пережитые лишения и утраты оставили незаживающие шрамы в душе поэта, кровоточившие и спустя десятилетия.

*Чтобы с каждым моим умирающим другом  
я сам умирал,  
Чтобы воля была продолжением боли?!  
Скажите,  
Если жизнь мне дана лишь однажды и срок ее мал,  
Сколько живо должен смертей пережить я?»<sup>5</sup>*

Анализируя литературное наследие ветеранов Великой Отечественной войны, можно четко проследить, что многие из них до конца дней мысленно оставались на местах отгремевших боев, среди фронтовых товарищей, в том числе и погибших, даже в мирное время постоянно возвращались воспоминаниями к тем давним, главным для них, событиям. Это касается не только хрестоматийной лирики Александра Твардовского, Юлии Друниной или Константина Симонова, но и творчества Марка Максимова, Иона Дегена,

других авторов. Для Рувима Морана война стала огненной вехой, беспощадной отметиной фронтовой поры, мерилем человеческих поступков, проверкой личной нравственности, совестливости, глубочайшим драматическим переживанием, ибо «Задолго до космических открытий открыто было людям: «Не убий!»

\* \* \*

Двадцатый мандельштамовский «век-волкодав», эхом отзывавшийся в стихах Морана, запечатлел в его душе и другие страшные знаки. Сын времени, он стал свидетелем и призмой преломления чудовищных бесчеловечных явлений, которые потрясли Россию и планету, о них невозможно было смолчать. Поэзия Р. Морана — выстраданная поминальная молитва о загубленном поколении:

*Лежит неизвестный солдат под гранитом  
В могиле со шлемом, из бронзы отлитым,*

*И вечное пламя трепещет над ней...  
Но где твой огонь, Неизвестный еврей?*

*Горят погребальные факелы века,  
Но где он, огонь Неизвестного зека?*

*«Ничто не забыто, никто не забыт».  
А кляп в чей-то рот и посмертно забит.*

Рувим Моран в полной мере испил чашу скорбей. В 1948 году по обвинению в «космополитизме» (дело Еврейского антифашистского комитета) бывшего военкора, кавалера ордена Красной Звезды, сотрудника газеты «Известия» арестовали и бросили в лагеря. Там он боролся за жизнь, занимался слесарным делом (негаданно пригодился заводской опыт!), при любой возможности перечитывал произведения русской классики. Вышел на волю спустя пять лет, в декабре 1953-го, совершенно другим человеком, точно очищенным от сплавов, всего наносного и лишнего. Поэт с широким лирическим талантом был перекован безвоздушным пространством тюремной камеры, научился методично оттачивать строфы в уме — и впечатывать в мозг, запоминать навсегда. Очевидец подвигов и преступлений, Моран не только поведал о военном лихолетье, но и оставил потомкам живую память об ужасах сталинских застенков, мракобесии антисемитизма, всеобъемлющем кризисе человечности и милосердия.

*А у нас втихаря убивали:  
На допросах, в централье, в подвале,  
На канале, на лесоповале,  
И тайгою, и тундрюю,  
Смертью долгою, трудною –  
Воркутинской, колымской, норильской –  
Вся земля неповинная  
Тайной плахой была исполинской –  
Душу живу повынули  
Из людей...*

Трагическим реализмом описания молоха сталинских репрессий стихотворения Р. Морана родственны «Реквиему» Анны Ахматовой, переключки в стихах заметны и не случайны. В книге «Поздний час» содержится посвящение памяти женского голоса эпохи. Рувим Давидович прекрасно понимал, что в 1966 году, несмотря на ахматовскую прижизненную легендарность, советское общество еще было не в состоянии адекватно воспринять и оценить масштабность ее поэтического свидетельства о черных годах террора, предвидеть его грядущее влияние на умы и значение для русской литературы. Не все заметили даже тихий переход Анны Ахматовой в мир иной, провожали ее мартовские колючие ветры и близкие друзья.

\* \* \*

Не менее очевидным для Морана являлся и тот факт, что его собственные стихи ни в хрущевскую «оттепель», ни во времена брежневского застоя без купюр опубликованы быть не могли. Рувим Моран терпеливо работал «в стол». Его поэзия – сжатое до предела отражение пережитых событий, образность многих стихов откровенно тяжела для восприятия в беспощадной прямоте и детальности описаний, достаточно вспомнить «Открытие навигации», «На вышке смерть моя сидит», «Сайхин».

\* \* \*

Течение календарных дней и изменения природных состояний зачастую не успокаивают поэта, но пробуждают в нем предощущения новых угроз и бед. Человек тонкой души и обостренной прозорливости, Рувим Моран чувствовал сердцем, что неизжитость проблем, отказ признавать и отрабатывать ошибки, во всей противоречивой полноте исследовать уроки прошлого predetermined вероятность повторения в будущем самых мучительных кошмаров.

*И стеною централа зубчатой  
Хмурый лес к поднебесью воздет,  
А кровавая баня заката –  
То ли память о бывшем когда-то,  
То ли вестница будущих бед...*

Годами Рувим Моран кристаллизовал в себе кредо поэта и человека – порядочность, принципиальность, достоинство, правдивость. Его собственная судьба, истории современников наглядно доказывают, что соглашательство с несправедливостью, искажение сути явлений неизбежно приводят к дальнейшим масштабным подменам, забвению истины, распаду системы ценностей. «Побойся человек непрямоты, неправота прощительней притворства», – призывал Рувим Давидович почти полвека назад, но выведенная им формула актуальна и для наших дней. В смешении черного и белого, вмешательстве пропаганды в массовое сознание, в условиях намеренного затуманивания разума, манипуляций фактами, при допустимости малой и большой лжи любой автор (и человек!) сам определяет отношение к происходящему, формирует гражданскую позицию, избирает модель поведения и дальнейший путь.

\* \* \*

Невозможно никого осуждать, особенно во времена глобальных кризисов, бедствий и тяжелых испытаний, но прошедший мясорубку войны и ГУЛАГа Рувим Моран явственно понимал, что самые страшные безумства свершаются на земле с молчаливого согласия большинства. Темы морального выбора, защиты истины, приоритета свободы, осмысления последствий внутреннего рабства, сопричастности преступлениям – ключевые в его поэзии.

*Мелким душам кажется уютной  
Сытая и теплая тюрьма.  
А большие мучит голос смутный:  
Не сойти бы, господи, с ума.*

*Но поскольку в каждом человеке  
Эти обе ипостаси есть,  
Здесь, хоть и мечтают о побеге,  
Продолжают спать, работать, есть.*

Как тут не вспомнить страстное желание ветхозаветного пророка Моисея вывести свой народ из неволи – и охватившее его вскоре отчаяние. Соплеменники с сожалением вспоминали об обильной еде, которая осталась в Египте, боя-

лись неизвестности, не понимали значения и смысла предстоящих скитаний. Как только духовный лидер удалился на гору Синай получать первые скрижали Закона от Всевышнего, отлили золотого тельца и стали ему поклоняться, усомнившись в окончательности освобождения. «Еле слышен звон цепей, но с тобой играют в прятки», — разве не так случается обманывать себя и наших современникам? Принимая в угоду сиюминутным интересам даже незначительную лукавую подмену, соглашаясь на выгодную сделку, подставляя запястья для коварных тонких браслетов, ты уже проиграл, и никакие призрачные достижения текущего момента не спасут от грядущих скорбей твою бессмертную душу.

*Все забвенно, темно, туманно...  
Но душа твоя, как ни странно,  
Помнит глухо и тяжело  
Не тебе нанесшее рану,  
А тобой причиненное зло.*

Стремление спрятать голову в песок, смолчать, выслужиться перед властью, сохранить любой ценой привилегированное положение и комфортный быт, не высовываться лишней раз в попытках восстановить справедливость, — не этим ли частенько грешим все мы и сегодня?! «Бесславна полуневоля, бесправна полусвобода, и обе они — обман». Беспощадная к соглашательству и лжи лирика Рувима Морана — болезненная прививка от слепого сытого рабства, уютного плена иллюзий, смирительной рубахи, напяленной в ужасе по собственной воле. Она не дает успокоиться, отчетливо показывает последствия боязливого и покорного принятия зла. Поэт ежеминутно стоит перед высшим Судией — и прекрасно знает о том, что за каждое деяние придет неизбежная расплата: «Но Страшный-то суд уж точно не будет полусудом», даже если в суете будней мы забываем о нем, предпочитаем делать вид, что сами управляем течением судьбы.

\* \* \*

**Р**увим Моран с большим вниманием относился к дружбе, особенно — проверенной временем, для него были крайне важны человеческие отношения. Он считал недопустимым, чтобы в какой-то момент «в обиженном вдруг проступал обидчик». Взаимная поддержка становится остро необходимой в беспросветные годы отчаяния, когда некоторые знакомые и вчерашние приятели отдаляются и исчезают. Один из товарищей и

коллег Морана, пострадавший все за тот же «космополитизм» и неправильное понимание искусства (его обвинили в том, что он был членом группы «замаскированных формалистов и эстетов»), — известный театральный критик и журналист, ветеран Великой Отечественной войны А.П. Мацкин. Ему, собрату по перенесенным несчастьям и товарищу по перу, адресует Рувим Моран очень личное, шуточное и доброе стихотворение к семидесятилетию, в котором пишет:

*Не с Александром ли Петровичем  
Среди всеобщей лжи и низости  
Легко делюсь я дум сокровищем  
В часы вновь обретенной близости?!*

*Хоть эти строки приурочатся  
К его семидесятилетию,  
Мне и себя поздравить хочется,  
Что вместе с ним живу на свете я...<sup>6</sup>*

Узнав об очередных невзгодах давнего знакомого Ильи Эренбурга (этот именитый писатель и журналист всю жизнь балансировал на опасной грани между славой и опалой, получая то поощрения, то выговоры), Рувим Давидович немедленно отзывается письмом. Он пытается поддержать собрата по перу, посочувствовать, разделить его трудности, выразить уверенность, что Эренбург справится, как всегда. «Хочется, чтобы Вы знали, что все тяжкое, свалившееся на Ваши много вынесшие плечи, вызывает у меня душевную боль и обиду за Вас». И тут же в деталях излагает историю, свидетельствующую об огромном споре на собрание сочинений И.Г. Эренбурга, донесенную ему из Харькова знакомым журналистом. «Представь себе, — цитирует его Моран, — с ночи у магазина подписных изданий выстроилась очередь свыше 2 тысяч человек. Интеллигенция, молодежь, бывшие вояки и просто «люди». У некоторых, самых отчаянных, на груди надпись: «Не хочу Ермаилова, хочу Эренбурга». И кратко о себе: «У меня все по-старому: перевожу, немного пишу свое, но мало, и не знаю, хорошо ли»<sup>7</sup>.

\* \* \*

**И**скреннее общение и подлинная близость, возможность откровенного разговора и обмена мнениями, душевное понимание, сердечность становятся огромной редкостью в советском зазеркалье, поэтому приобретают особенную ценность. Среди немногочисленных близких друзей Рувима Морана и его жены Иллы Боруцкой-Моран — писа-

тель В.С. Гроссман (вместе с И.Г. Эренбургом он собирал и редактировал знаменитую «Черную книгу» – документальный памятник жертвам Холокоста), поэт С.И. Липкин (его стихи не печатали, выживал переводами). Они то и дело вспоминают о «Ру-не-Рувочке» и его второй половине, в переписке между собой. Между строк читается переживание за судьбу товарища, озабоченность его состоянием. Василий Семенович Гроссман замечает в письме от 22 июля 1954 года: «Получил письмо от Рувима, по поводу письма Горького. Тронул меня Рувим. Крик души, а мне казалось, что душа его замолчала, не может кричать. Но он болен, бедный Рувим, и в этом письме чувствуется».<sup>8</sup>

Совсем немногие искренне переживали за судьбу Рувима Морана, еще меньше было тех, кто реально был готов помочь, поддержать не словом, а делом.

Познавший горечь потерь и разлук Р.Д. Моран пронес через всю жизнь бесконечное уважение и благодарность к тем, кого называл друзьями, не стеснялся подчеркивать их достоинства, хотя зачастую общение с ним было непростым. Кризис духовной близости, доверия и понимания – одна из болезней общества, корни которой гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Любить и дружить не по чинам и положению в обществе, а по велению сердца, многим из нас предстоит, по всей вероятности, учиться заново.

\* \* \*

Очень деликатно поэт относился к тем, кто просил у него литературного совета, старался никого не ранить, но отчетливо донести свое видение задач стихосложения. Поэт Ирина Машинская (США) вспоминает, что Рувим Давидович откликнулся на ее ранние стихи, прислал письмо с «разбором полетов». Правда, молодого автора оно изрядно задело: «Сейчас-то я понимаю, что письмо, которое показалось мне тогда высокомерным и неглубоким, было умным, добрым и чрезвычайно благосклонным. Мне грустно и стыдно, что я на него не ответила».<sup>9</sup>

Нередко, увы, понимание истинных намерений приходит лишь со временем, и тогда ничего уже не изменить, не исправить.

\* \* \*

**Р**увим Моран – человек и поэт исключительного нравственного камертона, внутренней цельнос-

ти, твердых моральных принципов. На протяжении всей жизни он пытался разобраться, в чем причина «обмельня душ» и того, что лишённые разума, мнения и голоса люди, по своей воле или неведению, становятся соучастниками чудовищных беззаконий, отчуждаются друг от друга, утрачивают лучшие человеческие качества. Ответ приходит сам собой: пренебрегая заповедями и божественным присутствием в мире, мы погружаемся в сомнения и страхи, теряем связь с Создателем, разрушаем его творение, приносим высшие идеалы и цели в жертву опасному скудоумию и сиюминутному эгоизму. И на месте лица вдруг проступает звериный оскал, а действия становятся жестокими, ведут к умножению насилия, распрей и несправедливости.

\* \* \*

**В**ыбор между правдой и литературной известностью, защищенностью, материальными благами и предпочтениями Моран однозначно сделал в пользу истины, ибо не мог иначе – за его спиной стояли тысячи безвинных и безымянных жертв, взывавших с требованием бескомпромиссного слова. Он ощущал со всей остротой и явственностью: «а чьи-то замерзшие души на жизнь мою смотрят с укором», «за нами кровь столетий, темницы, конвоиры, газовни и костры». Боли столько, что впору самому превратиться в камень, замолчать навеки, но не тут-то было, дар небесный не дается напрасно! Голос Рувима Морана не растворился среди многих других, но, обнимая страдающие души, стал выразителем их скорбей и чаяний.

\* \* \*

**В**ыдающийся врач и поэт Ион Деген однажды поделился со мной предположением, что, возможно, вопреки земной логике, после смертельного ранения он был возвращен в мир для того, чтобы честно рассказать о пережитом. Предать свое поколение, сделать вид, что ничего особенного с ним не происходило, вычеркнуть страшные десятилетия из памяти Моран не сумел, даже понимая, что это грозило ему новыми трагедиями и митарствами. «Твой железный соглядатай о тебе все донесет», – писал он, сравнивая себя с навеки окольцованной вольной птицей из другой вселенной, чьи движения условны и подконтрольны. Но даже такие ограничения не могут лишить человека изначальной глубинной свободы, дарованной свыше, заставить отказаться от избранной миссии.

*Душа же ходит напрямки  
Сквозь все преграды,  
И наплевать ей на штыки  
И на приклады.*

В одно мгновение можно потерять все: привычный уклад, дом, близких, но пленить небесную искру невозможно. Периметр колючей проволоки ограничивает передвижения тела, но винтовка охранника не властна над душой, которая научилась оберегать от посторонних волю и выбор, умеет «в себя отступить, в глубину»... Внутреннее измерение свободы даже в условиях нападков и гонений пронизывает лирику Рувима Морана. Такое понимание человеческого устройства придавало ему силы в самые трудные моменты, не давало изменить себе и предназначению, отказаться от исконной тональности своей лиры, сглаживать углы, выбирать менее острые темы. «На ней невидимый ярлык «Не продается!» — провозглашал Моран о душе, и это была его выстрадавшая в крови и поте правда. В утверждении справедливости и независимости поэзии был его принципиальный нравственный выбор, сделанный вопреки обстоятельствам.

*Но как вспомню свой тягостный гуж:  
Салехардскую миску с баландою,  
Волгодонскую вышку неладную,  
Заполярную глушь,  
Да заволжскую сушь,  
Да могилы в снегах и песках —*

*Не хочу ни смиреньем, ни ропотом  
Блага брать — пропади оно пропадом!  
После слез, после плах  
Блага — прах, слава — прах...*

Рувим Моран не играл в поэта, не примерял на себя чужие маски, не повторял за предшественниками. Ничего не изображал, не фантазировал в стихах, не следовал за литературной модой, не бежал в красивые грезы от окружавшей мрачной реальности. Он сознательно стал выразителем личного опыта и летописцем противоречивого исторического контекста, запечатлел в литературе чувства и размышления человека, прошедшего ад на земле, но сохранившего жизнь, достоинство, нелегкое право звучать от имени поколения.

\* \* \*

**Р**увим Моран — поэт, воскрешающий для потомков глубинное понимание морали и совести, на различных примерах показывающий, что

никому не будет освобождения от мук, пока не свершится раскаяние и искупление. Верный сын своего народа, он никогда не скрывал имени и национальности, сохранял связь с предками, проводил параллели между прошлым и настоящим:

*В новых страданьях  
Мой древний народ  
Встретит Майданек,  
Треблинку пройдет.*

Само могучее ветхозаветное имя Рувим (на иврите — Реувен) заставляет нас вспомнить историю сына Леи и Иакова, основателя одного из колен Израилевых, совершавшего непоправимые ошибки, изведавшего боль и лишения, но не утратившего доброты и милосердия. Катастрофа европейского еврейства не оставила Морана равнодушным, он постоянно возвращается к ней в размышлениях и стихах. Настоящий поэт, он присутствует в этот момент в сожженных гетто, в газовых камерах концлагерей, в расстрельных рвах и на развалинах местечек. Он знает, помнит, глубоко скорбит и высказывается о всеобщей трагедии как о своей собственной.

\* \* \*

**Н**оситель огромной внутренней культуры, Рувим Давидович использует в поэзии многочисленные реминисценции из Ветхого и Нового заветов, ненавязчиво вплетая их в панно эпохи, поднимаясь до серьезных философских обобщений. Библейский Исход воспринимается Мораном как масштабное событие, продолжающее раскрываться в современности, где «впервые в земле отцов живые бьются за мертвецов». Имеющий открытое сердце читатель ясно видит, насколько тесно связаны история и наши дни, как для новых поколений с удвоенной мощью повторяются прежние сюжеты и испытания. «Перед ликом вселенной — о милосердье молю!» — трагическим Иовом восклицает Рувим Моран, переполняясь страданием.

\* \* \*

**П**оэт не раз подвергался преследованиям из-за еврейского происхождения, пострадал в антисемитскую кампанию в СССР, но не отрекался от корней, мечтая о времени, когда «имя мое — Рувим — на меня не отбросит тень». Чтение стихотворений Морана — колоссальный урок внутренней силы и терпения, толерантности, следования своим принципам от человека, который прошел через ог-

ненное горнило эпохи, но сумел остаться собой, сохранить связь со своим народом, древним языком и источником, питавшим душу и творчество.

\* \* \*

Полвека назад поэзия не только не принесла Морану известности и славы, но и не могла прокормить семью. После освобождения из лагерей Рувим Давидович не имел права жить в Москве, не мог печататься под своим именем. Его реабилитировали, но в дальнейшем поэту пришлось заниматься преимущественно литературными переводами. Этот трудный хлеб спасал опальных писателей от голода, нищеты и неминуемой гибели. «Жизнь ли, время меня научили ниоткуда спасенья не ждать», – рассуждал Моран, избирая новую стезю.

Как и в случае со стихосложением, овладевая мастерством перевода, он учился неистово, постоянно совершенствуя приобретенные навыки. Одним из наставников на новом пути оказался выходец из старинной родовитой семьи, выпускник Поливановской гимназии, получивший позже классическое филологическое образование в Московском университете, поэт и переводчик Сергей Шервинский. С ним Рувима Морана на долгие годы связала крепкая дружба, теплое человеческое взаимопонимание. Сотрудничество и общение с Сергеем Васильевичем задавало для Морана высокую профессиональную планку, развивало и оттачивало литературный стиль.

Из письма Р.Д. Морана С.В. Шервинскому от 18 ноября 1967 года: «Из всех Ваших трех четвертей века мы знакомы – очно – немногим более десяти лет, а кажется – всю жизнь. Я навсегда запомнил тот день, когда пришел к Вам... еще гонимый, неустроенный, неуверенный в старый кабинет Ваш на Померанцевом, и встретил добрый, благожелательный и внимательный прием. Как быстро нашли мы с Вами общий язык, как легко было работать с Вами! Никогда я не чувствовал в Вас «редактора-прокурора», Вы относились ко мне как к собрату по «служению муз», несмотря на несоизмеримость нашего опыта – жизненного и творческого». <sup>10</sup> Разносторонне одаренный, чуткий Сергей Шервинский стал одним из тех, кто редактировал переводы Р. Морана, деликатно и бережно поясняя необходимость доработки текста, предлагая свои варианты.

Под его руководством Рувим Давидович неустанно шлифовал мастерство, добиваясь совершенства каждой строфы. С огромным уважением и трепетом он относился к памятникам искусства и

культуры больших и малых народов, в переводах старался избегать любых искажений и неточностей. Скрупулезный подход к делу поражал коллег и служил показателем высокой профессиональной пробы. Труд Морана высоко ценили признанные мэтры – Семен Липкин, Семен Кирсанов, Арсений Тарковский, переведенные стихи рецензировали Вера Звягинцева, Николай Любимов, Лев Пеньковский, поддержавшие его кандидатуру в Союз писателей СССР. С.В. Шервинский так охарактеризовал друга и коллегу в рекомендации к вступлению в секцию художественного перевода Московского отделения СП СССР от 16 мая 1960 года: «Я знаю т. МОРАНА несколько лет и немало редактировал его переводов. Мне приятно заявить, что в лице т. МОРАНА я встретил, оценил, а потом и полюбил выдающегося поэта-переводчика с громадной, кроме того, работоспособностью и редкими душевными качествами». <sup>11</sup>

Приступая к переводам из татарской поэзии, Рувим Моран самостоятельно изучил татарский язык. Он стремился изнутри почувствовать живое биение слова, не любил пользоваться чужими подстрочниками, хотя, конечно, приходилось сверяться и с ними. Бывший одессит Сергей Александрович Снегов (урожденный Козерюк, позднее по паспорту – Сергей Иосифович Штейн), отсидевший в лагерях девять лет, описывает в своей «Книге бытия» совсем невероятную историю, как один из известных казанских литераторов несколько раз звонил Рувиму Давидовичу, и тот подробно объяснял, как должен выглядеть оригинал произведения: «Он продиктовал классику готовый перевод еще не написанного стихотворения и вернулся к столу. Я возмутился.

– Руня, что за вздор? Разве ты не можешь напечатать свое стихотворение под своим именем?

Он хладнокровно ответил:

– Не будь наивным. Мои стихи «Литгазета» никогда не напечатает, а мои переводы национального классика – с радостью. Приходится выкручиваться.

Не хочу утверждать, что так было всегда. Но что видел, то видел» <sup>12</sup>.

С некоторыми татарскими авторами Рувима Морана связывали годы совместного труда, переросшие в дружеские отношения. В личном рукописном фонде Хасана Туфана сохранились письма переводчика его произведений на русский язык. В них – подробное обсуждение материалов и деталей литературного процесса, а также доброжелательная, очень осторожная критика, конкретные рекомендации.

Рувим Моран заслуженно стал другом татарс-



кой интеллигенции, желанным гостем в Татарии, где его действительно ценили и уважали. Именно в Казани, по настоянию коллег и почитателей, увидела свет его единственная прижизненная книга «Выбор» (1968), содержащая преимущественно переводы и около десяти стихотворений.

*– Подари свою новую книжку!  
А была лишь одна у меня,  
Поздним пылом похожа на вспышку  
Догорающего огня.*

В письме С.В. Шервинскому от 19 сентября 1968 года Рувим Моран называет долгожданный сборник «книжицей-гибридом»: «кое-что дорогое сердцу удалось в ней сохранить, несмотря на...»<sup>13</sup> И он, и его адресат прекрасно понимали, о чем идет речь.

Кроме татарского, Моран переводил с английского, румынского, чешского, узбекского, идиша, иврита, открывая новые литературные имена и художественные произведения разных народов. Мастера и критики отмечали, что Рувиму Давидовичу удивительным образом оказывались подвластны самые сложные поэтические формы и ритмы. Труженник пера был привычен к кропотливой и нелегкой работе.

\* \* \*

Для читателя удивительно то, что рядом с бьющими наотмашь стихотворениями, описывающими ужасы войны, каторги, тюрем, передающими близкое дыхание смерти, в поэзии Р. Морана сверкают открытия удивительной чистоты, к которым и прийти, наверное, можно было, только испив полную чашу страданий. Классической любовной лирики в наследии Рувима Морана не так уж много, хотя художнику слова не чуждо восхищение женской красотой как удивительной частью мироздания. Но суровый и одновременно чувствительный человек, прошедший муки войны и лагерей, научился глубоко скрывать, оберегать свои чувства.

Даже письма из лагеря жене поэт отправляет очень спокойные, но можно только догадываться, сколько боли, надежды, недомолвок и иносказаний скрыто за каждой строкой. Из письма Рувима Морана Илле Боруцкой-Моран от 14 января 1950 г.: «Милая моя, родная! Сегодня старый Новый год, а писал я тебе в последний раз под «новый» Новый. Сейчас очень тороплюсь – есть возможность отправить. Прости за долгое молчание – все ждал от тебя писем, но у нас перерыв в доставке, и еще не дождался. Соседи уже начали получать, у нас даже уже и посылки некоторые пришли – значит, и нам скоро

принесут. От тебя минимум 4 письма должно быть – последнее я получал от 3/XII.<...>

Морозы стоят сильные. Но вообще-то погода очень быстро и резко меняется, иногда два раза в один и тот же день... В остальном перемен пока нет, хотя разговоры о них все время идут. Временами тоска берет за сердце, пощемит, пощемит – но что поделаешь. Читаю Тютчева, кое-что заучил наизусть и стараюсь руководствоваться классическим «день пережит, и слава богу». Правда, это мне плохо удается»<sup>14</sup>.

Илла Михайловна отвечает: «Родной мой, светлая моя радость!

Я как подумую о своих вялых скучных письмах, так мне просто больно делается. Хочется столько сказать, как-то ярко, по-настоящему выразить свою любовь, а слов этих-то, настоящих, нет и нет. Милый мой, вот ты все пишешь о том, что значат мои письма для тебя. Я, конечно, понимаю это отлично. Но мне хочется, чтобы и ты понял, как важны, как бесценны и твои письма для меня. Когда я получаю от тебя письмо, несколько первых дней у меня проходят совсем иначе. Всю боль, всю горечь я отгоняю куда-то, и мне кажется, что ты где-то близко, что наша встреча predetermined и неизбежна. Каждое твое письмо – мой заветный талисман, он оберегает меня не только от поступков, которых я бы потом стыдилась и себе не простила, но даже от мыслей, потому что кого бы я ни сравнила с тобой, я знаю, я чувю – ты лучше, во всяком случае для меня, потому что, как ты писал мне как-то, мы созданы друг для друга. Когда-то, много лет назад, нам с тобой удалось смягчить суровых междугородних таксофонисток – помнишь? Теперь, мой родной, когда судьба нас испытывает неизмеримо сложнее и мучительнее, мы, я верю, силой своей любви победим и самое страшное препятствие – время.<...>

Милый, не знаю, можно ли поздравить тебя с наступающим годом. Но, подобно тебе, и я хочу поблагодарить тебя и судьбу за то, что мы встретились с тобой и прожили, пусть очень мало, несколько счастливых лет. И закончу я совсем как если бы ты был рядом: брось курить, родной, это будет для меня лучшим новогодним подарком, потому что даст мне больше надежд на нашу будущую встречу.

Целую тебя, родненький, будь здоров и бодр, как и я, почти всегда. И, знаешь, хоть и бывает на душе и темно, и тяжело, а все же на многих женщин я смотрю с чувством сожаления: они вот живут серо и не знают, и не знали никогда того яркого счастья, которое принесла мне любовь, моя любовь к тебе. Береги себя, милый. Твоя Илла».<sup>15</sup>

И все же эмоции иногда прорывались сквозь все преграды и внутренние запреты! Стихотворение «Свидание», посвященное Илле, – редкий для Р. Морана пример гимна женщине, всепобеждающему чувству, абсолютная антитеза лагерной несвободе. Любовное переживание оказывается квинтэссенцией времени и частным примером проявления грандиозных катаклизмов.

*И если жадная и более живая  
Бывает жизнь – я жил в тот малый срок,  
Слезинки теплые губами собирая  
С таких родных, осунувшихся щек.*

*Забившиеся в неприглядный угол,  
Мы потому прощенью подлежим,  
Что, до конца принадлежа друг другу,  
Всем бурям мира мы принадлежим.*

За границами строф остается факт, что в минуты чудом выпавшего на их долю свидания поэт поспешно диктовал жене по памяти новые стихи, она отчаянно стремилась их запомнить, а после возвращения – записать.

В лирике Рувима Морана о любви нет безудержного кипения страстей, но явлен скрытый огонь, целомудренная сила всепобеждающего чувства, акцентированы темы верности и умения дождаться своей судьбы, пронзительности переживания разлуки. Над всем этим – огромная надежда, ибо любовь не умирает даже во тьме тюремного барака, в любом возрасте она озаряет и вдохновляет на творчество, поддерживает на плаву и дает силы. Вывод Морана: ценить нужно каждое мгновение близости с родным человеком, наслаждаться им, не медлить любить, ибо мы не ведаем, что будет завтра.

\* \* \*

Поэзия Рувима Морана проникнута глубоким религиозным контекстом, духовным знанием, обретаемым постепенно. Взору читателя открывается сильнейший контраст между описаниями деяний рук человеческих, жестоких битв за власть и ресурсы, приводящих к океанам крови и слез, разрушениям и гибели цивилизаций, – и великим божественным промыслом, устремляющим к любви и гармонии.

*Все железное – мертво.  
Живы песни бескорыстные,  
Спелые ни для кого.*

Поэт размышляет о пагубности влияния «венца творения» на окружающий мир, предупреждает, насколько легко можно все погубить и разрушить. Он восхищается исконной мудростью и гармонией природы, которая пока непостижима.

*Все сущее губим и травим  
И сами себя не щадим...*

*Затейливы тени в дубраве  
И смысл их неисповедим.*

Побывав в безжалостных жерновах диктатуры, он предостерегает читателей от возвращения демонов деспотии и тоталитаризма, обличая двойную мораль и подлость злоупотребления властью.

*Нет, велика роль личности в истории,  
И превозносят роль широких масс  
Те личности зловещие, которые  
Над массами тиранствуют как раз.*

«Без совести, без Бога куда придешь?» – задает вопрос Р. Моран. И читатель находит ясный ответ. Кто помогал выживать в поединках со смертью, хранил и берег, чтобы поэт обрел мужество и силы во весь голос рассказать о времени, жизненных обстоятельствах, проблемах выбора – и о Нем. Такая возможность – знак избранности и долженствования, ибо нет приговора страшнее молчания для осененной высоким даром души.

*И может ли тебя утешить  
То, что в позоре немоты,  
Ничьей петли не мылил ты,  
Что и тебя терзала нежить?..*

Стихотворения Р. Морана свидетельствуют со всей очевидностью, что, переосмысливая явления и поступки былого и настоящего, поэт ежедневно исповедуется и поверяет себя перед Всевышним, и эта реальность – исток глубинной нравственности и откровенности лирических признаний, опора существования: «Одно осталось – перед Богом и совестью держать ответ».

\* \* \*

Живая природа – спасение и отдохновение для души, явный знак сопричастности иной, благословенной реальности. Она обесцвечивается и замерзает вместе с человеком во мраке лагерной зоны и вновь раскрывается во всем великолепии на воле. Но даже в поздние годы Ру-

вим Моран не всегда может во весь голос воспеть совершенство окружающего мира, перед его глазами навеки застыли тени прошлого, от имени которых ему суждено говорить.

*Я мог бы сам откликнуться хвалой  
Ее утешных красок избылью,  
Но как же быть с горячею золой  
Освенцима и с лагерною пылью?*

*Ведь так от них суха моя гортань,  
Что и росой не может увлажниться...  
Глагольте за меня в лесную рань,  
Земля и камень, дерево и птица.*

Лишь иногда автор позволяет себе стать частью безмятежной красоты, раствориться в ароматном блаженстве природного раздолья, принять пульсирующие вселенские токи жизни. И тогда его лирика представляет собой великолепный пример русской пейзажной поэзии, эмоционального познания и слияния с мирозданием. Только так и можно прочувствовать, насколько на самом деле нежна и беззащитна израненная душа Р. Морана:

*В начале марта лес почти безмолвен,  
Но, если вслушаешься в тишину,  
Тобою будет тайный звук уловлен,  
Услышишь и снежиночку одну.*

*Сорвавшуюся вдруг с еловой лапы,  
И ударяет, кажется, в висок  
Березы пульс — еще безмерно слабый  
В сосуды поднимающийся сок.*

*Все дело в том, что стоит очутиться  
Наедине с природой лишь на миг,  
И обретаешь чуткость зверя, птицы,  
И понимаешь дерева язык.*

Как и другие философы, с годами Рувим Моран черпает все больше мудрости, откровения в бесконечном источнике естества, леса и травы становятся его подлинными утешителями и друзьями.

*Выходит, что снег мои раны бинтует,  
Смиряет он все, что болит и бунтует.*

Это возвращение человека к его бытийным корням, принятие всеобщего родства и единства, исцеление и очищение в нем. Путешествуя, поэт подмечает мимолетные краски и нюансы ландшафта в горах Тянь-Шаня, долинах Армении, окрестностях Казани, не устает дивиться природ-

ному воображению и многообразию, улавливая повсюду проявления Всевышнего.

\* \* \*

Присутствие Создателя и чуткая совесть человека становятся для Р. Морана самыми строгими судьями, взыскующими раскаяния и искупления, как в реальности — так и в поэтической строфе:

*Для звука каждого и слога  
Переживалась снова  
Вся жизнь.  
Как видно лишь у Бога  
В начале было слово.*

\* \* \*

Писал Рувим Моран обычно медленно и трудно, крылатости и легкости пера его литературному дарованию определенно недоставало. «Сопричастностью волшебству» называл он рождение стихотворения, подразумеваемая чудесную тайну вдохновения, не поддающуюся разгадке. Он нередко удивлялся тому, что другие поэты творили иначе, очаровываясь дыханием, ритмом и слогом, музыкальной составляющей строфы, ведущей за собой в волнующий мир звукописи. У Морана процесс творчества проистекал, как некогда рабочий день в чугунолитейном цехе: через многочисленные правки, преодоление, напряжение. Именно так отливались и выверялись филигранные стихотворные формулы, в которых нет ни одного случайного слова. Им чужды искусственные красоты, туманности, недосказанности и замысловатости, сложные рифмы и метафоры. Образы поэта объемны, осязаемы и конкретны. Лексика сочетает возвышенные обороты и нарочитые прозаизмы, элементы бытового и разговорного словаря, в зависимости от художественных задач стихотворения. Характер речи определяется действительностью, преломленной через чувства автора. Рувим Моран в творчестве неизменно отталкивался от реальных событий, переживаний, впечатлений, наблюдений, в них — источник и предмет его вдохновения.

\* \* \*

На фоне запутанных интеллектуальных парадоксов и исканий постмодернизма лирика Р. Морана может показаться необычно простой по форме, наивной и чересчур рациональной по содержанию. Поэт называл себя «приверженцем классической ясности», продолжал традиции

предметной и психологической точности, развивая их через собственный опыт.

Полутона в литературной палитре Моран применяется нечасто, не допускает двойственности толкований, хочет быть понятным полно и однозначно, искренне обращаясь напрямую к читателю.

*Я не владею колдовством стиха,  
Моя строка рассудочна, суха,  
Рождается не сразу – в долгих муках,  
Влача слова как бы в тяжелых выюках.  
Увы, я не был никогда ведом  
Восторгом легкости – все брал с трудом.*

Отношение к литературе у Рувима Морана возвышенное, почти сакральное. Вхождение в Матенадаран – книжное хранилище в Ереване – он описывает как волнительное вступление в храм, где спасены от гибели тысячи рукописей, представляющих культуру разных народов, – подлинное бесценное достояние цивилизации. Поэт понимает, что каждая прочитанная настоящая книга может круто изменить жизнь: «Не книгу я прочел – я крестный путь прошел». Над своими стихами он корпел, добиваясь абсолютной гармонии содержания и формы, поверяя поэзию самой высокой мерой – временем.

«В себя не верил я в шестнадцать и сомневаюсь в шестьдесят», – пишет убежденный сединой интеллигент, за плечами которого – огни и воды нечеловеческих испытаний. Рефлексия, строгость внутренней критики и самодисциплины, характерные для внутреннего мира поэта, не давали успокоиться и расслабиться. Стихотворная строфа до последнего вздоха оставалась для Рувима Морана зеркалом реальности и мерилем совести, нитью связи с беспредельностью, которую недопустимо осквернить грубым прикосновением. Звучание поэтического слова напрямую связано не только с состояниями природы, но и с ходом времени, миропорядком в целом, возможностью влиять на события и их формирование, поэтому настолько важны точность и чистота выражения замысла.

*Корень слова любого извечен,  
В нем побег за побегом сокрыт.  
И нагой человеческой речью  
Напрямую душа говорит.*

Десятилетиями Рувим Моран работал над рукописью, собирал стихи в сборник с пророческим названием «В поздний час», не ведая, будет ли он опубликован, оставляя это свершение на высшую волю. Пьедестала себе никогда не строил, однако определенное видение будущего у поэта возникало:

*А гордыни нет в помине,  
Только беспощадный суд.  
Как уложат в домовине,  
Подытожат – все поймут.*

Автор не увидел этой книги, не узнал, что ее тепло приветствовали коллеги и читатели. Зато с чистым сердцем признался в главном:

*Сорок лет скитался я пустынею,  
Богохульствовал и поклонялся  
Не Творцу – железному тельцу,  
Но в пути мой разум прояснялся,  
Зелень леса, неба чашу синюю,  
И скрижали, и ковчег, и скинию  
Я обрел.*

*А жизнь пришла к концу.*

Поэт вернулся к Богу и осознал свое предназначение, несмотря на все перенесенные невзгоды и откровенную враждебность социума, – это ли не главный итог насыщенной скорбями и лишениями жизни и смысл его пребывания на земле?!

*В поздний час все разгадки просты,  
Дышат космосом звезды сирени,  
Но ужасно, что тьмой слепоты  
Нужно выстрадать радость прозренья.*

Забвение мучительно для писателя, несущего в себе частицу высшего творчества. Наверняка Рувим Моран высказал не все, что мог и желал, но оставленное им наследие – бесценно. Он, бесспорно, задумывался о будущих читателях, готовя сборник, хотел быть расслышанным, беспокоился: «Какую боль, какую участь готовит двадцать первый век?» Понимал, что человечество легкомысленно балансирует у опасной черты, за которой – разверзается пропасть:

*Живой отмахивается: успею...  
О, сколько совершалось дел земных  
За полчаса до гибели Помпеи,  
За миг до Хиросимы, лишь за миг!*

Ответственность перед Создателем за дела этого мира, бережное и внимательное отношение ко всему сотворенному – начиная от мелкой былинки до всеобъемлющего космоса, восстановление родства с окружающим бытием – вот о чем болела душа Р. Морана в последние годы перед уходом, наполняясь тревожными предчувствиями. Страшно остаться забытым и непонятым, еще горше – не решиться передать свидетельство из прошлого, не суметь поделиться опытом, предуп-

редить о возможных опасностях и обозначить их, так рассматривал он миссию поэта:

*Бессмертен дух, бессмертен знак его,  
И в букве тайна есть и волшебство,  
Как в атоме, энергия в ней скрыта,  
И то, что было до нее мертво,  
Безмолвнее базальта и гранита,  
Вдруг обретает с будущим сродство,  
Навечно в форму строгую отлито.*

Случайностей не бывает. Серым ноябрьским днем в книгообмене Музея еврейской истории и толерантности в Москве мне попала в руки небольшая книжица, перелистав которую, я затаила дыхание. Рувим Моран, «В поздний час», тираж издания – 7500 экземпляров, цена – 65 копеек. Под черно-белой мягкой обложкой – в развитии вся долгая жизнь мудрого и мужественного человека. Я читала стихи взахлеб, возвращалась к ним снова и снова, вспоминала тех, кто по разным причинам не осмелился сказать о своей судьбе в контексте времени настолько недвусмысленно и правдиво, пронзительно и откровенно. Радовалась, что поэтическое послание Рувима Морана дошло до адресатов – его потомков, сохранило свою глубинную силу и стало неоспоримым литературным документом ушедшей эпохи, серьезным предупреждением о настоящем и будущем, имеющим значение для каждого из нас.

## Примечания

<sup>1</sup> Цитируется по изданию: Рувим Моран. «В поздний час». – Москва, «Советский писатель», 1990.

<sup>2</sup> Цитируется по материалам: Ортенберг Давид. «Июнь-декабрь сорок первого» на сайте modernlib.ru.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Цитируется по изданию: Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. В 3-х томах. – Москва, «Текст», 2005.

<sup>5</sup> Здесь и далее стихи цитируются по изданию: Рувим Моран. «В поздний час», Москва, «Советский писатель», 1990.

<sup>6</sup> Цитируется по письму Р.Д. Морана А.П. Мацкину, РГАЛИ.

<sup>7</sup> Цитируется по письму Р.Д. Морана И.Г. Эренбургу, РГАЛИ.

<sup>8</sup> Цитируется по материалам сайта журнала «Знамя» [znamlit.ru](http://znamlit.ru).

<sup>9</sup> Цитируется по изданию: Яков Клоц. «Поэты в Нью-Йорке. О городе, языке, диаспоре». – Москва, «НЛО», 2016.

<sup>10</sup> Цитируется по письмам Р.Д. Морана С.В. Шервинскому, РГАЛИ.

<sup>11</sup> Цитируется по рекомендации С.В. Шервинского Р.Д. Морану, РГАЛИ.

<sup>12</sup> Цитируется по изданию: Сергей Снегов. «Книга бытия», Калининград, 2007.

<sup>13</sup> Цитируется по письмам Р.Д. Морана С.В. Шервинскому, РГАЛИ.

<sup>14</sup> Цитируется по материалам сайта «Большой город» [bg.ru](http://bg.ru).

<sup>15</sup> Там же.

□

## **Наталья ЛАЙДИНЕН**

*родилась в Петрозаводске.*

*Поэт, журналист.*

*Живет и работает в Москве.*

*Исполнительный директор*

*РОО «Карельское землячество в Москве»,*

*член Московского отделения*

*Союза писателей России.*

